

ГЕНРИ МИЛЛЕР

ТРОПИК КОЗЕРОГА



*АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44
М60

Серия «Эксклюзивная классика»

Henry Valentine Miller
TROPIC OF CAPRICORN

Перевод с английского *М. Салганик*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Печатается с разрешения The Estate of Henry Miller
и литературного агентства Agence Hoffman.

Миллер, Генри.

М60 Тропик Козерога : [роман] / Генри Миллер ;
[пер. с англ. М. Л. Салганик]. — Москва : АСТ,
2015. — 416 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-089691-2

Своеобразное продолжение легендарного «Тропика Рака» и одновременно вполне самостоятельное произведение, раздвинувшее границы творческой допустимости для писателя, желающего остаться честным перед собой и читателями.

Когда-то «Тропик Козерога», как и предшествовавший ему «Тропик Рака», привел современников в состояние шока и даже вызвал обвинения в порнографичности содержания — обвинения, которые во время шумного судебного процесса были признаны несостоятельными.

Однако теперь, когда скандальность давно смыта расставившим все по своим местам временем, он производит неизгладимое впечатление именно благодаря силе и мощи литературного таланта Генри Миллера.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

© Henry Miller, The Estate of Henry
Miller, 1939

© Перевод. М. Салганик, 2015

© Издание на русском языке AST
Publishers, 2015

ISBN 978-5-17-089691-2

Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому после утешения в личной беседе я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.

*Петр Абеляр,
«История моих бедствий»*

Яичниковый троллейбус

Когда выпускаешь дух, все приобретает твердую определенность, даже в хаосе. Вначале ничего, кроме хаоса, и не было, была лишь жидкость, окружавшая меня, которой я дышал через жабры. В нижнем слое, где ровно и тускло светила луна, все было гладким и питательным, а выше начинались тарарам и сумятица. Я во всем мгновенно распознавал противоположности и противоречия, иронию и парадокс реального и нереального. Я был самым страшным врагом себе. Все, что я хотел сделать, я мог бы с тем же успехом и не делать. Даже ребенком, когда я ни в чем не испытывал нужды, мне хотелось умереть: я хотел сложить оружие, потому что не видел смысла в борьбе. Я чувствовал, что продолжение существования, о котором я не просил, ничего не докажет, не обоснует, не прибавит и не убавит. Меня окружали одни неудачники, а кто не был неудачником, те были смешны. Особенно кто преуспевал. Преуспевшие вгоняли меня в скуку до слез. Я был сострадательен до глупости, но то было не сочувствие страданию. Это было чисто негативное свойство, слабохарактерность, одолевавшая меня от одного вида человеческих несчастий. Помогая, я никогда не рассчитывал принести пользу, я помогал, потому что не умел совладать с собственной натурой.

Желать изменить положение дел казалось мне бессмысленным, я был убежден, что ничего нельзя изменить, пока люди не изменятся, а кто их может изменить? Время от времени кто-то из друзей обретал веру: меня от этого тошнило. Мне Бог был нужен не больше, чем я Ему, если Бог есть, говорил я себе, я бы спокойно с Ним встретился и плюнул Ему в лицо.

Сильнее всего меня раздражало, что поначалу меня обычно принимали за человека хорошего, доброго, щедрого, преданного, верного. Возможно, я обладаю этими качествами, но потому только, что я равнодушен: могу позволить себе быть и добрым, и хорошим, щедрым, преданным и т.д., поскольку не завистлив. Вот чего во мне никогда не было, так это зависти. Я никогда не завидовал никому и ничему. Напротив, я всегда испытывал жалость ко всему и ко всем.

Я, должно быть, с самого начала приучил себя ничего в особенности не желать. Я с самого начала был фальшиво независим. Ни в ком не нуждался, потому что хотел быть свободным, хотел свободно делать, что взбредет в голову, и давать, сколько вздумаю. Когда от меня что-то ожидали или требовали, я артачился. Так я проявлял независимость. Иными словами, я был испорчен, испорчен с самого начала. Будто всосал в себя отраву с материнским молоком и, хоть меня и рано отняли от груди, отравка осталась во мне. Даже когда мать отнимала меня от груди, я выглядел вполне равнодушным; младенцы обычно противятся или изображают сопротивление, мне было наплевать. Я еще в пеленках был философом. Я был в принципе против жизни. Что это за принцип? Принцип тщеты. Все вокруг меня боролись,

а я и ухом не вел. Когда я делал вид, что стараюсь, то старался я сделать кому-то приятное, самому же мне было начхать. А если вы можете объяснить мне, отчего я такой, я вообще все буду отрицать, потому что родился с этими чертовыми склонностями и никуда от них не денусь. Я узнал, когда уже подрос, что меня насилу выволокли из материнской утробы. Вот это я отлично понимаю. Зачем шевелиться? Зачем вылезать из славного, теплого местечка, уютной норки, где тебе все дается за так? Одно из самых ранних моих воспоминаний — это холод, снег и лед в канаве, замерзшие оконные стекла, озноб от отпотевших зеленых кухонных стен. Чего ради люди живут в странных климатических условиях, ошибочно именуемых *умеренной* зоной? А потому что люди по своей природе идиоты, по своей природе лодыри, по своей природе трусы. Лет до десяти я и не подозревал, что на свете есть теплые страны, где не надо трудиться в поте лица и не надо дрожать от стужи, притворяясь, будто это бодрит и разгоняет кровь. Где холодно, там живут люди, которые трудятся до кровавых мозолей, а когда у них появляются дети, то и детям вдалбливают библию труда — а это, по сути, есть не что иное, как доктрина инертности. Я из семьи людей нордических, то есть *идиотов*. Они усвоили все нелепые идеи, которые когда-либо проповедовались, в том числе доктрину чистоплотности, уж не говоря о доктрине праведности. Они были болезненно чистоплотны. Но смердели изнутри. Они никогда не распахивали дверцы в свои души, им и в голову никогда не приходило вслепую прыгнуть во мглу. После обеда посуда быстро перемывалась и убиралась в буфет, прочитанная газета аккуратненько складывалась и убиралась

на полку, белье после стирки немедленно выглаживалось, складывалось и упрятывалось в комод. Все предназначалось на завтра, но завтра никогда не наступало. Настоящее было не более чем мостом, и на этом мосту они и посейчас стенают, как стенает весь мир, и ни одному идиоту не приходит в голову взорвать мост.

Я от злобы часто ищу причины для их осуждения, чтобы и себя получше осудить. Потому что я во многом такой же, как они. Я долго думал, что мне удалось улизнуть, но с течением времени начинаю понимать, что я ничем не лучше, пожалуй, еще и похуже их, поскольку видел куда яснее, чем они, а изменить свою жизнь оказался не в силах. Когда я оглядываюсь на прожитое, мне кажется, что я никогда не действовал по собственной воле, всегда под нажимом других. Меня часто принимают за человека авантюристического склада — ничто не может быть дальше от истины. Мои приключения всегда бывали результатом случайности, их мне всегда навязывали, а я их скорее терпел, чем затевал. Я — воплощенная суть гордой, чванливой нордической расы, у которой никогда не было ни малейшей склонности к авантюрам, но которая тем не менее обрыскала всю землю, все перевернула вверх ногами, повсюду оставив за собой останки и руины. Нордические души беспокойны, но не склонны к авантюрам. Терзающиеся души, не способные жить в настоящем. Ибо существует только одна великая авантюра: движение внутрь собственной души, для которой не имеют значения ни время, ни пространство, ни даже поступки.

Раз в несколько лет я вплотную приближался к этому открытию, но характерным для меня образом

умудрялся обойти проблему. Если искать достойную причину, то говорить можно только о среде моего обитания: об улицах, которые я знал, и о людях, которые там жили. Не представляю себе американскую улицу и уличных обитателей, которые могли бы привести кого-то к открытию души. Я прошел по множеству улиц во многих странах мира, но нигде не чувствовал себя таким униженным и оскорбленным, как на улицах Америки. Американские улицы суммарно видятся мне как гигантская выгребная яма, сточный колодец духа, все в себя всасывающий и превращающий в дерьмо на веки веков. А над выгребной ямой дух труда вздымает волшебную палочку, по мановению которой бок о бок возникают дворцы, и фабрики, и военные заводы, и химические предприятия, и сталелитейные комбинаты, и санатории, и тюрьмы, и сумасшедшие дома. Весь континент — это кошмар по производству наибольших бед в наибольшем количестве. Я был одним отдельным существом на колоссальной веселухе благосостояния и счастья — статистического благосостояния, статистического счастья; мне ни разу не попадался действительно богатый или действительно счастливый человек. Я-то по крайней мере знал, что не счастлив, не богат, не на месте и не по делу. Мое единственное утешение, моя единственная радость. Негусто, конечно. Для спокойствия души и разума было бы лучше, если бы я открыто взбунтовался, сел за это в тюрьму. Если бы я, на манер чокнутого Чолгожа, застрелил какого-нибудь доброго президента Маккинли, какого-нибудь мягкого ничтожного человечка, который никому не причинил ни малейшего вреда. Ибо в сердце своем я таил убийство: я хотел, чтоб Америка была унич-

тожена, стерта с лица земли. Я желал этого из мести, во искупление преступлений, совершенных против меня и других мне подобных, кто никогда не мог возвысить голос и выразить свою ненависть, негодование, законную жажду крови. Я был порочным порождением порочной земли. Не будь душа бессмертна, «я», о котором я пишу, давно было бы уничтожено. Кому-то это может показаться выдумкой, но что бы ни произошло в моем воображении, все происходило на самом деле, *во всяком случае, со мной происходило*. Это может опровергаться историей, поскольку я не сыграл никакой роли в истории моего народа, но если даже все, что я говорю, неверно, тенденциозно, язвительно и злобно, если даже я лгун и отравитель — все равно это правда, и ее придется проглотить.

Что же до того, что произошло...

Все, что происходит, если оно имеет значение, противоречиво по самой своей природе. Пока не появилась та, для кого это написано, я думал, будто где-то там, в жизни, как говорится, можно найти решение всех проблем. Когда она появилась, мне показалось, будто я ухватился за жизнь, нашел опору, за которую смогу держаться. Но я, наоборот, утратил связь с жизнью, я тянулся к тому, за что рассчитывал держаться, — и наткнулся на пустоту. Но, стараясь дотянуться и стараясь удержаться, я нашел другое, чего вовсе не искал, — нашел *себя*. Я обнаружил, что всю жизнь мне хотелось не жить — если то, что все делают, называется жить, — мне хотелось

выразить себя. Я понял, что к жизни не испытываю ни малейшего интереса, что мой интерес — в том, чем я сейчас и занимаюсь, что параллельно жизни, соединено с ней, но выходит за ее пределы. Меня почти не интересует истина, да и реальность тоже, меня интересует лишь то, что происходит в моем воображении и что я ежедневно подавлял в себе, чтобы жить. Для меня не имеет значения, умру ли я сегодня или завтра — и никогда не имело значения, — но вот моя неспособность выразить словами мои мысли и чувства даже сейчас, после стольких лет стараний, мучает и терзает меня. Я теперь понимаю, что с детства шел по следу этого призрака, не радуясь ничему, не желая ничего, кроме этой силы, этой способности. Все прочее ложь — все, что я делал и говорил, — если оно не имеет отношения к этому. Хоть и составляет большую часть моей жизни.

Я и сам был, как говорится, противоречием по сути. Во мне видели человека серьезного и глубокомысленного, или веселого и непоседливого, или искреннего и чистосердечного, или ненадежного и беззаботного. Во мне и были все эти качества — и проявлялись все разом, но было и нечто еще, о чем никто не подозревал, меньше всего я сам. Лет в шесть-семь я усаживался у дедушкиного рабочего стола и читал ему вслух, а он портняжничал. Я живо помню, как он вдруг замирал, отпаривая пиджачный шов, нажимая на утюг обеими руками, и мечтательно смотрел в окно. Я лучше помню выражение его лица, когда он так стоял, замечтавшись, чем содержание книг, которые читал, чем наши с ним разговоры, чем игры, в которые играл на улице. Мне хотелось знать, о чем он замечтался, что его увело. Я тогда еще не научился мечтать наяву. Я постоян-

но пребывал в ясном сознании, жил текущей минутой, не зная раздвоенности. Дедова мечтательность завораживала меня. Я понимал, что он удаляется от того, чем занят, совершенно не замечает никого из нас, что он один и в этом одиночестве свободен. Я никогда не бывал в одиночестве, меньше всего, когда оставался один. Мне казалось, я постоянно в компании: я был вроде крошки в здоровенной головке сыра, который составлял, видимо, мир, хотя я так не формулировал эту мысль. Я только знал, что никогда не существую самостоятельно: я никогда не рассматривал себя как сырную голову, что ли. Так что, даже когда у меня появлялись причины чувствовать себя несчастным, ныть или плакать, я воспринимал свое горе как частицу общего, универсального горя. Когда плакал я, плакал весь мир — так я представлял себе. Я редко плакал. Чаще всего я пребывал в хорошем настроении, смеялся, был всем доволен. Я всем оставался доволен потому, что, как я уже говорил, мне было на все насрать. Когда у меня случалось что-то не так, значит, везде было не так, в этом я был убежден. А не так получается, когда человеку чего-то сильно хочется. Это я усвоил довольно рано. Например, я помню историю с моим приятелем Джеком Лоусоном, который проболел целый год, мучаясь от страшных болей. Джек был моим лучшим другом — во всяком случае, все так говорили. Ну я, наверное, поначалу очень жалел его и несколько раз заходил проведать, но прошел месяц, другой, и его страдания перестали вызывать во мне отклик. Я сказал себе, что Джеку лучше умереть, и чем скорее он умрет, тем легче ему будет, а сказав себе так, я и повел себя соответственно, то есть быстренько о нем забыл, предоставив друга его

собственной судьбе. Мне тогда было всего лет двенадцать, и я помню, что гордился своим решением. Я помню и его похороны — паскудное мероприятие. Явились все эти друзья и родственники, окружили гроб и начали завывать, как больные мартышки. Особенно меня мутило от мамыши. Она была таким возвышенным, духовным существом, увлекалась христианской наукой или чем-то вроде, и, хотя она не верила в болезнь, а соответственно и в смерть не верила, она подняла такую вонь, что самому Христу впору было восстать из гроба. Но ее любимый Джек так и не воскрес! О нет, Джек лежал холодный, как ледышка, застылый и невоскресимый. Он умер — без вариантов. Я это знал и был рад. Слезы лить впустую я не стал. Не могу даже сказать, что так было лучше для Джека, потому что Джек уже исчез. Его больше не было, не было страданий, которые он терпел, и страданий, которые он невольно причинял другим. «Аминь!» — сказал я себе, но поскольку пребывал в состоянии несколько истерическом, то еще и громко пукнул — прямо возле гроба. Чрезмерная привязчивость... она развилась у меня только однажды, примерно когда я впервые влюбился. И даже тогда не так уж и влюбился. Будь я действительно привязан, я бы сейчас не писал эти строки: я или умер бы с разбитым сердцем, или победил бы. Влюбленность оказалась скверной штукой, потому что она научила меня жить во лжи: улыбаться, когда улыбаться не хотелось, трудиться, когда я не верил в труд, жить, когда у меня не было для этого никаких оснований. Даже позабыв ту девицу, я сохранил привычку делать вещи, в которые не верю.

Как я уже говорил, вначале все было хаосом. Но иногда я настолько приближался к центру, к самому

сердцу сумбура, что можно только удивляться, как это вокруг меня все не взрывалось.

Принято все валить на войну. А я должен сказать, что война никак не затронула меня и мою жизнь. Многие устраивались в комфортабельных лежбищах, а я переходил с одной жалкой работы на другую, и при моих заработках душа еле держалась в теле. Меня брали на работу и почти тут же вышибали. Мне хватало смысленности, но я внушал недоверие к себе. Я всюду вносил разлад, не потому, что был идеалистом, а потому, что действовал на манер прожекторного луча, высвечивая глупость и тщету окружающего. К тому же я плохо умел лизать задницы, что, конечно, ставило на меня мету. Народ сразу видел, что хоть я и прошу работу, но на самом деле чихать хотел, дадут ее мне или не дадут. Естественно, чаще не давали. Однако с течением времени сам поиск работы превратился в род деятельности, так сказать, во времяпрепровождение. Я мог явиться и попросить любого рода работу — способ убивать время, на мой взгляд, ничем не хуже самой работы. Я был сам себе босс, соблюдал собственные рабочие часы, но в отличие от других боссов я мог выдавать на-гора только свою погибель, свое банкротство. Я был не корпорацией, не трестом, не государством, не федерацией, не альянсом наций — уж если на то пошло, я выступал скорее в роли Бога.

Так продолжалось примерно с середины войны и до...

...в общем, до того дня, как захлопнулся капкан. В конце концов настал час, когда работа мне потребовалась позарез. У меня не оставалось больше ни минуты, и я решил взяться за последнюю работу на свете — стать рассыльным. Я отправился в отдел по

найму телеграфной компании — Космодемоницеской телеграфной компании Северной Америки, — явился туда в конце рабочего дня, готовый на все. Я шел из публичной библиотеки и тащил несколько толстенных томов по экономике и метафизике. К моему изумлению, в работе мне было отказано.

Тип, который завернул меня, поганенький коротышка, работал на диспетчерском пульте. Похоже, он принял меня за студента, хотя из моей анкеты явствовало, что с учебой я давно распростился. В анкете я даже почтил себя степенью доктора философии Колумбийского университета, факт, который был оставлен без внимания или воспринят с подозрением завернувшим меня коротышкой. Я пришел в бешенство, усиленное тем, что впервые в жизни действительно старался чего-то добиться. Я ведь даже спрятал в карман свою гордость — немалую, хоть и довольно своеобразную. Жена, конечно, отнеслась к этому с обычными насмешками и подковырками: я, по ее словам, просто проделал ряд телодвижений. Я лег спать, размышляя на эту тему, все еще кипя от злости, заводясь все больше и больше. Меня не то волновало, что есть жена и ребенок, которых нужно кормить: человеку дают работу не оттого, что ему надо содержать семью, уж это-то мне было отлично известно. Нет, меня бесило, что отказали мне, Генри В. Миллеру, способнейшему человеку, личности высшего разбора, пришедшему наниматься на самую низкую должность на свете. Вот что меня грызло. С этим я не мог примириться. Наутро я проснулся бодро и рано, побрился, оделся в лучшее, что было, и рысью кинулся в подземку. Я направился напрямиком в главный офис телеграфной компании... на двадцать пятый, или какой там, этаж, где распо-